

Первый — русская литература. Чему она учит? Верности своей земле, чувству хозяйской причастности и любви к читателю. В Иване Бунине пронзительный режущий нюх к жизни, тоска и переживание каждого штриха происходящего, небоязнь сделать его событием и опорой повествования. И впечатление, что душа в стихах, верно исполняя канон, но не найдя простора, потребовала шири, и Иван Алексеевич нашёл её в прозе. Это как река. То режет хребет до полу. То шириью уходит к океану.

Почему поэт идёт в прозу? Нет проломной гениальности, и хочется поискать других пространств? Как в доме — либо остаться в сенках, либо дальше двинуть, открыть грядущую дверь. Кто его знает... У прирождённого поэта дом не делится на сенки и горницу, а всё одно светящееся пространство. А если есть ощущение простенок и позыв узнать, что за дверью, — тогда и в путь. И к нему свой склад: меньше надежды на мгновенные озарения, больше способностей к стройке, что ли. Больше рассудительности. Хотя не то всё... Вот так лучше: в поэзии — или попал в цель, или не попал. Один выстрел — и соболев в руке! А проза — это как ловушками работать, широко и постепенно. Охватом. Есть время подумать — насторожить ли оба берега, или только этот, где избушка. И можно пол-участка взвести и

в базовом зимовье на нарах денёк отлежаться под баньку. Чтобы потом остальное досторожить, посмотреть «чѐ да как», а потом внепланово поднять кулёмочную дорожку на Лочоко, а хребтовую по гари у Хаканачей прихлопнуть: мыша мало нынче.

И никто никуда не убежит, всё в руках, и знаешь, что законы совершенства полдела за тебя сделают, только не ленись сверяться. Хотя не высидеть главного крепкой задницей и инженерными мозгами. И пускай в прозе и сильнее чувство подвластности материала, но секундный всполох тоже нужен — озарение уже самой идеей произведения. А она почти всегда в одной фразе уместается.

У Бунина язык — одно из главных действующих лиц повествования. Но не так, как у рассуждающих о форме и содержании, делящих на средства и нечто более важное, им противопоставляемое, — а язык как носитель национальной прапамяти. Каждое слово имеет свою даль и свою историю, и нет ничего прекрасней, чем следить её, снимать кожурки слой за слоем и доживать до первообраза.

«Завернули ранние холода». Сколько в трёх словах силы, сквозящего Русского мира и глубинных воспоминаний! Какие клубы завернулись! И не то слово всколыхнуло пережитое, не то так впечатан в душу образ, что уже нет границы между былым и привидевшимся. Бывает, много раз перескажешь сон, и не знаешь, был ли... И может сам придумал? «И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка — то летела, выпукло кренясь...». Сколь точный образ! Из этого «бесцельно и скучно» целое состояние души, открывающееся мимолётно и знакомо, и тут же забывающееся и хранящееся в памяти вместе с сотнями таких же достоверных ощущений, которые, оберегая, никогда не зазвучат едино.

Наверное, самое подходящее к Бунину слово — это пронзительность, и, пожалуй, самый пронзительный рассказ «Поздний час». «...И пошёл я по мосту через реку, далеко видя всё вокруг...». Читатель, прошедший сегодня по Ельцу, повторивший путь героя к тому самому кладбищу, поймёт, что речь о реке с большой буквы, о памяти, вечности. Так и идёт герой к могиле возлюбленной, по-над которой стоит в небе та самая зелёная звезда, что светила им в молодости. Такие рассказы будто открывают право на существование в литературе повествований без громкого сюжета. Приближают к правде состояния, которое подчас важнее внешнего события. Ведь самое главное внутри происходит. И при потрясениях особенно.

Сюжет о пути через реку на могилу близкого человека предельно старинен, и был у Ивана Алексеевича в крови, наверняка он в детстве слышал народные песни. Вспомним «Ягодку», найденную и возрождённую Владимиром Скунцевым примерно в тех же южнорусских местах, только на юго-восток, на Хопре. Есть пасхальный и свадебный вариант прочтения песни, но гораздо таинственней и глубже поминальный смысл «Ягодки». Когда «зелёный хуторочек» — кладбище.

*Е-е-эй она бы она закричала  
Ээй красная моя девчоночка  
Своим звонким она голосом  
Своим звонким голосочком ой да голосом  
Е-е-эй перявоцик а ты перявоцик,  
Ай да переправь меня да девчонычку  
Эх на ту сторону да ряки.  
Е-е-эй там в зеленом хуторочке,  
Что на самом на ярочке,  
Мой милёначик живёт.*

Слушайте Владимира Скунцева и ансамбль «Казачий круг».

Всегда поражает, когда любимый писатель восхищается и очаровывается стариной. Ведь он сам для тебя — заповеднейшая старина. А нет, оказывается, и для Бунина так же чудны были времена «Страшной мести», а для Пушкина — пу- гачёвская пора.

Есть писатели, которые входят в кровь на заре жизни, а есть, которые позже, когда дозреешь. А есть — что и так и так. Фронтом и вошли Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Оба как из стратосферы. За пределами призваний. Толстой с «Войной и миром», «Казачами», рассказами. Достоевский — с «Идиотом» и «Братьями Карамазовыми». Урок Бунина был прикладной, учил зачину с языка, будто говоря — пока не поставишь, не наладишь перо, не смей и рта открывать. Тысячи людей любят Родину, любят близких, любят места России, но единицам удаётся не уронить высокое значение этих слов, пронести сквозь века, передать детям. Трудись. Учись изъясняться лаконично и точно. Да будет твоё слово крепко стоящим на земле, но устремленным ввысь и прозрачным, как бутылка, стеклянный кувшин. А судьба его сама наполнит.

Уроки Толстого и Достоевского общие, стратегические. Главное — степень впечатанности героев в душу независимо от прозрачности или непрозрачности, образности или необразности, огромность князя Андрея, княжны Марьи, Кутузова. Может, когда ты мал — и образы огромней? Нет, не в том дело, у других писателей, прочитанных в детстве, не было такой монументальности персонажей. Можно приплести, что Толстой стоял на заре главной литературы, и такой перво-данности образов не повторить. Нет. Дело лишь в силе. Но если, изучив Толстого, можно постичь его мастерскую и подвинуть с места за нарастание слабостей, то с Достоевским вовсе непостижимо. Настолько он ломает представления о мастерстве, настолько причудливо в нём сочетается стихийное с расчётливо-драматургическим, прикладное с философским, что он так и остаётся величайшей загадкой. Недостигаемым образцом, утверждающим бесконечность художественного постижения.

Об уроке Астафьева. «Последний поклон» — великая книга. В ней есть рассказ «Конь с розовой гривой». О том, как Добром зло одолевается. Если Бунин в ремесленном смысле учил строгости и прозрачности, то Виктор Петрович — докапыванию до смыслов, обильному и красочному водопадному живописанию, которое, как весенний горный ручей, обязательно промоет дорогу к вещи прозрачности. А совсем к делу — учил не бояться боли. Нести как дар и муку, не щадя ни себя, ни читателя.

Под боком, под бортом у любимого писателя можно долго плыть. Но всегда охота свои плавники опробовать. Есть учёба: оттолкнуться от Астафьева и Бунина, как от берега, и пробовать самому грести. Пытаться приспособить законы-правила к делу: они подогнуться и окрепнуть в твоих руках должны. Схватиться, как заготовки. И зуд в кистях отдаться ответно.

Рисовалась рыбина — картинка, схема повести, осетёр такой, и слоями, штриховыми, белыми, чёрными, — сосуществовали в стремительном теле параллельные составные, слоились линии героев, и голова цельно означала вступление, въезд в повествование, а хвост — финал. Главным было единство очертания, плотность и прилегание слоёв. Поначалу обычно чужих рыбин рисуют, изучают, и те, радуя, открываются в спасительном сходстве. Потом — только своих.

А как скучно, когда оказывается, что почти всё приёмами достигается, кроме, конечно, главного. Оно-то и спасает.

С недосыгаемой высоты глядел Иван Алексеевич Бунин, становилась в рост сила слова, замешанная на глубочайшем знании родной земли, на праве судить самого себя, отождествлённого с Отечеством, когда даже барское брюзжание в «Деревне» имело оправдание: это моё, хочу казнь, хочу милую. Да и сам, главное, не сахар.

Иван Алексеевич близок начинающему сочинителю — глядя на него понятно, как работать неумелому. Хотя нет ничего хуже, чем быть начинающим. Все тебя шпыняют. Даже те, кто не шурупят, как сговорившись, ставят в пример Чехова. А главное, сам толком ничего не можешь, не нажил запаса мудрости, не богат выслугой душевных лет, долгим плаваньем, а требуешь уважения, будто уже всё написал, ведь мироощущение-то настоящее, художническое. И, похоже, с самого детства. А доказать нечем. И ничего не остаётся, как закинуть в лодку самое дорогое, — и чтоб уже не отступить, — столкнуть её в горную реку, изловчиться, запрыгнуть, черпнув ледяной воды, а там только шестом управляйся — такая быстерь!

Второй урок, идущий всегда параллельным курсом, — тайга. Многие пытаются величать этим словом ещё и еловые и сосновые леса европейского нашего Севера. Не в обиду — не несут последние того образа, что привораживает в сибирской тайге. И удивительно, что дальневосточная тайга, пышно-кудрявая летом и серо-сквозистая зимой, внешне ещё менее похожа на сибирскую, но по своей сути к ней ближе, чем архангельские или вятские леса. Видно, дело в азиатской энергии Доуралья (или Зауралья — откуда смотреть), которая столь сильна, и её ощущает каждый сюда приехавший, едва выйдя из самолёта и хлебнув студёного воздуха. И в историческом — столь велика была разгонная сила первопроходцев, с какой они, одолев гигантскую Сибирь, выкатились к Океану, что и сибирское слово «тайга» братски накрыло козырьком и Прихабарье с Приморьем.

В тайге много соблазнов. Соблазн собственной силы. Соблазн противопоставления города и дальних мест, конечно же предполагавший ту самую «фальшь» больших городов, света, от которой бежал Оленин из «Казакów».

Всё это — двояко. Как повернуть. Поэтому главное здесь — возможность начать с корня. Ничто так не меняет душу, как восходящее движение. Но для него вертикальный разлёт, размах нужен. Нет русской литературы без народности и религиозности. А корень — это народность. Знание жизни человека, а не наделение представлениями о нём, как в фильмах горожан о селе. (В фильме «Кзаки» Ерoшка пришёл с ходовой охоты на фазана в пышной бараньей какой-то дохе, накидке поверх черкески. В ней и сибирской зимой-то на промысле упреешь. Хотя написано Толстым: «...за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина». Ладно...)

Врёт писатель, что не нужно признание, что очищения, испытанного в работе над книгой, в досталь. Слов нет — оно смысл. Но неполный без отклика. И писатель как дитя его ждёт, зависит нелепо от читательских мнений, питается ими, нарушая простейшие духовные заветы. Судить его за это или не судить — не тема беседы. Но всё равно: как дороги отзывы неискущённых читателей, простых людей!

Есть золотце, мелькнувшее с дамского пальчика в театральной ложе. Или над рекой Хомолхо в Бодайбинском районе среди мха, мерзлоты, в кварцевой жиле кристалл золота повёл лучами.

В корневой жизни всегда есть для писателя своя гордыня, противопоставление, мол, вы там чистоплюи городские, а мы тут пашем, едри его в пуп. Здесь

настоящее, а там нет. Но всё зависит от того, какие уроки извлечёшь, куда тебя выведет. Если к разлому меж частями России — то беда, а если к монолиту — то и слава Богу. Это к вопросу: а нужен ли сочинителю азарт, соперничество на ранних порах? Да всё нужно, что к делу.

Тайга без человека пустое место. Её образ дорастает именно в промысловой традиции, в силе памяти о былых временах, в разговоре предков с этими просторами, его преемственности. Без этого тайга — открытка. Многие идут-то за открыткой, а привораживаются людьми, братьями по доле и дали. ...Ждал самолёта в 1977 году дед в Иркутском порту. Руки — как крюки, суставы распухшие. Промывальщик, видно. Ладони сами как лотки. Выгнутые чуть не углом и так и схваченные. Сам худой, какой-то бледный в синь. И говорит кому-то, кто рядом, о своём вечном: как его (это золото) искать, чуют. Паренёк, который рядом, может и ушёл, не выдержал, а дед всё равно вещает, с жаром, чуть не с отчаянием, проповедует, только бы донести, только бы передать! Да такими словами... Только не вспомнить никогда.

Читатели делятся на две категории: знающие то, о чём читают, с детства ли, с юности. И те, которые не знают, но им близок сам тон, строй книги. Они с листа создают образы, идя рука в руку с писателем. Открывают мир, веря авторскому оку, сердцу. А тем, кто знает — двойная отдача. Вроде бы особо трудиться не надо, только узнавать. Намекнули — уже представил. Но зато... какие тропы тянутся от каждого слова вдаль, к детству, к близким, у кого куда.

«Конь с розовой гривой». Утонувшая матушка маленького Витьки. И плывущая по воде земляника.

И вот старинное промысловое село Ворогово. Далёкий год. Мужики с города на катере. Староверы с Дубчеса, выехавшие флотилией на Енисей, сдавать кто чем богат. По большей части ягода. Первым ринулся навстречу покупателям шebutной старовер с двумя вёдрами, потом толпа подошла, отгеснила, и катерские взяли ягоду у спокойной и рослой бабы. Шebutной кержак вдруг ринулся к берегу — и размахисто вывалил в Енисей два ведра. Прибой прибил, течение растянуло, и длинной полосой вдоль берега колыхалася брусника.

Урок тайги силён уважением к людям, напрочь выбивает дурь и каприз. Он направлен внутрь человека. Приучает жить, каждую минуту отдаваясь настоящему, питаюсь им, как милостью. Появляется привычка жить, находясь в смысле, и другое воспринимать как болезнь, нелепицу. Тайга ещё и товарищество. И знание самого мерзлотного пласта жизни, который для писателя золото. И не просто знание, а постижение закона превращения этого знания в литературу, что гораздо важнее. И схожесть литературы, особенно прозы... и промысла. Строй тайги, то стихийный, то аскетический, кристальный, в решёточку, в антеннку. И то, что нет ни одной одинаковой мачточки. И что когда в дорогу — ничего забыть нельзя, всё важно, и спички, и топор, и горючее. По всем осям сборы. И то, что в книге столько осей, что все должны быть выполнены, все емкости заполнены! Если диалоги — то герои должны говорить ещё кратче, ярче и характерней, чем в жизни. И что живость героя достигается целым набором качеств, но главное — его собью, каким-то собственным необыкновенно убедительным состоянием души, отношением к жизни, до конца автором не разгаданным. И именно это авторское восхищение и переживание неразгаданности только добавляет достоверности. Допустим, просто раздражённый мужик — и как сильно его раздражение, как заповедно и непостижимо! Что он весь гудит... И веришь.

И если описываешь город, реку или тайгу — то обязательно найди что-то, что тебя поразило в городе, реке или тайге: но чтоб уже описание не костра вышло, а его отсвета в душе. Как в Бунинской чайке.

И что писанина твоя — никакая не привилегия, а одна из бесчисленных разновидностей труда: вот замена подшипника, заточка цепей, и вот заточка сравнения, эпитета, вывод лезвия до звона. Вот валка леса на избушку — а вот лесозаготовка первичного образа повести, когда главное — не упустить ничего, не забыть, взять объёмом, кубатурой, на площадку припереть, а потом, когда будет уже коло дома лежать, — разберёшься, главное на месте. Нет ничего труднее, чем из полного небытия создать нечто стоящее, и непосильное есть что-то в таком рождении. Это и есть добыча. Добыть осину на ветку, дерева на лыжи, оленя. Выудить, перетянуть в твоё пространство. А как добыл — так и с плеч гора. Как ягоду в коробе принёс с листочками, с веточками — потом ответся.

Дальше только с виду легче. Привести в Божеский вид. Ещё каторжной, тем более уже драматургия сложилась, радость испытана, а надо перелопатить в литературный облик. И вроде даже глупо. Всё понятно, и теперь формальности. Хотя последние рабочие дни радостны, и мелкие доработки просты и недушечувствительны. Тут не похоже на стройку: в избе внутренняя отделка муторнее, чем возня с брёвнами и стропилами.

Но главное-то не сходство ремёсел, а любовь. Без любви к тому, что пишешь, ничего не выйдет. Промысел в тайге вовсе не всегда так ярок, как кажется со стороны. Есть и нудные полосы, бывает и оттепель после первых морозов, от которой будто всё насарку. Только капает с деревьев жёлтым, и не пойти: снег не держит, да и мокрый будешь, как выдра. Есть поломки техники, сжирающие время. Есть и просто усталости разных сортов. Товарищ, которым дорожу, рассказывал, как его рвало от усталости ночью в избушке. Не вынести без любви — и к своему делу, и к тому, что вокруг. Получится писать, если полюбишь до слёз, как тайгу любят, как любят места, на которые власть рукой махнула, а оно чем дальше и заброшенней, тем дороже. Любят, не противопоставляя одно место другому, а видя всю Россию от Океана до Океана, как узорный плат. А когда на дорогое посягнут, то ещё и защитником проснёшься.

Когда пролетаешь над такими местами или на время покидаешь — по хребту мураши бегут. Те же мураши, когда о дорогом пишешь — вот делись ими с читателем!

Так и учит жизнь отличать настоящее от поддельного... Книгу от текста, писателя от автора, учителя от педагога. Два урока — урок книги и урок промысла — они вместе. Но с годами уступают третьему.

Наработать слог, настропалиться кроить повествование может каждый средней руки литератор. О пластике мало кто думает как об отдельном уменье, но, попотев, — справится. Добавить слух к слову, начитанность и вообще интерес к литературе, писательским судьбам. Да и прелесть комнатного труда — не в шахте сапогами хлюпать. Поэтому главное не дар, а как с ним обойдёшься. На какую службу поставишь. Литература, как любое мастеровое дело, это — наука как дарёное Богом не угробить. Пустить не во славу своего пупа, а на благо родной земле и её жителям, раз единственный смысл художественного творчества — оказание духовной поддержки согражданам. А многочисленные примеры иного удачного применения — не более чем искушение. Проверка на верность.

Разрозненные способности ничего не стоят. В прежние времена писали хоро-



шо и не будучи сочинителями. А как пишут самородные гении, каким врождённым даром к слову обладают! Вспомним хотя кузбасского художника Ивана Селиванова и его дневники-записки или сочинение Афанасия Мурачёва о разгроме Дубческих скитов. Потому разговоры о «слоге» опустим. Примечательно, что и читатели бывают удивительно необъёмные, монорельсовые. Независимо от количества образований и других культурностей. Но учат-то не эти, а те читатели, что, желая выразить благодарность, будто говорят заключительно-главное слово в том отрывке, которое ты пытался вымучить. И ничего нет дороже такого слова.

И штука не в знании приёмов, не во врождённом слухе к слову и не в способности озаряться чудным драматургическим или поэтическим решением, а только лишь в умении распорядиться всем этим, возрасти сильным и щедрым сердцем.

Бунин, Толстой, Достоевский, Астафьев — учат мастерству, масштабу. Гумилёв и Есенин — ответу за слово. А потом как граница пересечёт дорогу и воздух сменит цвет: начнутся живые люди, современники, которые-то и покажут, куда дар направить. Расскажу о двух. Оба сибиряки. Первый — Николай Александров. Родился в городке Болотном недалеко от Новосибирска. Жил в самом Новосибирске, а последние годы — в сорока километрах от Новосибирска в посёлке Колывань. Не путать с рудной Алтайской Колыванью, основанной Демидовскими промышленными людьми.

В юности так представляется образ писателя:

Солидный, несколько полный господин с щеками и бакенбардами. Он только проснулся и в халате бродит по обширной квартире с большими окнами. Возможно на парк. Пьёт на ходу кофе или курит трубку. Главное в его состоянии — полное отсутствие какой бы то ни было спешки и озабоченности чем бы то ни было. Вволю побродив, наш классик садится за огромный покрытый зелёным сукном стол и какое-то время творит, прерываясь на задумчивые проходы по квартире. Далее возможна прогулка. Потом обед, после которого обязателен полуторачасовой сон. Потом кофе или чай. Прогулка. Ужин. К вечеру стол и книги.

Николай Александрович — другой. Его распорядок неизменен на протяжении пары десятилетий. Нижеприведённое впечатление о нём — из первых, давнишних. Коля вставал в шесть утра, по чёрной мгле мчал на тридцать первой «Волге» на работу в Новосибирск (у него и теперь небольшое по нашей поре издательство «ИД Историческое наследие Сибири»). По морозу под сорок. По асфальту в чашах дыр. Мимо бетонного забора ТЭЦ-2 с косыми рёбрами устойчивости и невидимой во тьме колючкой поверху. Примчав в издательство, проведя разрядку и отзвонясь, тут же мчал куда-нибудь на «Обгэс», «Мелькомбинат», «Горводоканал» или «Пороховой завод». Просить денег на книги по истории области или на издание какого-нибудь поэта, например, Николая Зиновьева из Краснодарского края (не путать с песенным Зиновьевым). Потом — переговоры, библиотека, журнал «Горница», звонки, ездотня. К вечеру в Колывань. Кормёжка куриц и огребание снега. И вопрос к Николаю: «А когда же ты пишешь?». И ответ: «А всегда пишу. Мои рассказы, они внутри, как камушки, точатся, гранясь друг о дружку. Потом я их высыпаю на бумагу и живу дальше, никого не мучая».

Каждое гостевание в Колывани оборачивалось встречами со школьниками. Выступлениями на Рождественских чтениях. Приехав отдохнуть, гость попадал в обмолот.

Александров никогда не уподоблялся издателям, для которых издательская деятельность — средство обогащения, и которым нет разницы, «чѐ клепать» —

кнопки, пиво или книги. Книжки, которые он считал особенно нужными, — просто раздавал. «На двадцать миллионов библиотекам отдал. Мне ж “луреатство” дали — “Меценат года”!» Издал «Историческую Энциклопедию Сибири», разработал и внедрил программу семейного чтения «Мудрые дети», включённую в образовательный план области. По области провёл под сотню семинаров по «Мудрым детям» и ни одного творческого вечера со своими книгами. Любимый писатель — Макаренко. Рассказы Александра нашло питерское издательство «Русская симфония» и предложило издать книгу. Отдал безгонорарно. Зарядил «Народную летопись», которую люди сами пишут. Сотая часть дел... Но тут даже не дела, а дух отношения, которому счастье вторить. Как-то так... И снова вопрос: «Когда же ты пишешь?».

И ответ с каким-то умудрённым, но не усталым выдохом:

— Это уже и не важно. Есть вещи, не принадлежащие одному человеку...

Всё это уже было, и на горло собственной песне наступали, и ради будущего пахали как проклятые. И все боятся повторить, обегают это место, как отравленное, мол, хватит, проехали! А этот наоборот туда и метит, мол, в том и сила, что было, чтоб продолжилось! А все корят, даже пишущий журналист из районной, кажется, газеты пытается, но безуспешно: «Николай и сейчас живет расчетливой и до подробности продуманной суетой: планёрки, кучи писем и бухгалтерских отчетов, вымалывание денег на книги. Всё бы протестовало против такой расточительности, если б в его рассказах не угадывались глубинные потоки русских предков-писателей — Толстого, Достоевского и Бунина, которые и дали жизнь этому скромному, но живительному роднику сибирской педагогической прозы». Наверное, это подтвердят и серый бок ТЭЦ-2, и остов Сибсельмаша, и усаженный Колиными ёлочками и сосенками склон Кольванского угора. И эти строки:

«Я знаю, что когда-то и совсем скоро здесь будут стоять разлапистые высоченные сосны, гудеть вековечно и трубно на ветру и янтарно блеснуть весенней смолой. А кто-то полюбуется на них, посидит и задумчиво помечтает, прислушиваясь к тишине позднего вечера или к шуму дождевой капели, в которой, я знаю точно, будут отгадываться хрупкие удары моего отгулявшего сердца...

...Так и книги и написанные, и изданные, мои... и наши книги, и все дела прочие большие и малые, обязательно прорастут заложенной в них любовью к будущему.

Я успею посадить ещё несколько сотен сосен, и дай Бог успеть увидеть следы своих дел. Ведь так хочется верить, что каждый след твой нетленно красив».

Ещё человек-урок. Писатель из Иркутска Анатолий Байбородин. Родился в Забайкалье, в Бурятии. Отец, из тех, про кого сказано:

*Забайкальский мужичок  
Вырос на морозе,  
Летом ходит за сохой,  
А зимой в обозе.*

Матушка, в девичестве Софья Лазаревна Андриевская, из Читинской области, из Красного Чикоя, из мест, освящённых пресветлым образом Преподобного Варлаама Чикойского, к мощам которого можно приложиться в Казанском Соборе в Чите. Предки Байбородина по материнскому кореню происходят из семейских старообрядцев, в своё время оттеснённых в Польшу, а потом, во второй половине XVII века, сосланных в Даурию. Переехали семьями, вроде бы и отсюда название семейские.



Надо знать и любить Забайкалье, занимающее первое место по числу солнечных дней в стране и по малоснежности. Климат резко континентальный, морозный, снега почти нет, а который есть — выдувает, и степь желта и в конце января. Горы, озёра с зелёным льдом, чахлый даурский соснячок по сопкам. Бурятские лошадки, возлежащие на федеральной трассе.

Все худо-бедно знают или Байкал, или уж сразу Дальний Восток. А Даурия как-то пролистана нетерпеливым читателем. Но и у неё есть свои радетели в русской словесности. По словам Владимира Личутина, «Анатолий Байбородин в Сибири и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стилистов и знатоков русского слова». Многим его проза кажется густоватой, закрытой, даже придуман ярлык: орнаменталист. Но зато какой Русью от неё веет! Как сумел воплотиться писатель в языке, вместив в него и устную народную речь, и обобщённый опыт литературных стилизаций, пропущенный через сердце! Уж сколь говорено о писательских раскладках: этот, дескать, поэт-энциклопедия, этот — поэт-фонотека, этот — библиотека. А тот — едва не форсунка... Дак вот, если на то пошло, Байбородин — писатель-музей. Живой музей русского языка со школой ремёсел в пристройке. Забайкальский историко-лингвистический заказник имени Варлаама Чикойского. Принимая во внимание труды писателя по изучению обрядов, крестьянской хозяйственной жизни, языка во всём многообразии пословиц и поговорок, и, конечно, работу над его «Русским месяцесловом». Заповедность, несмешиваемость... Знаете, как капля дождя на замасленном седле.

Вообще он уже давно не писатель, а носитель и мыслитель. Бывает, так переплетётся всё в Русском мире, что мозги врасклин, и боязно в раздражении и ошибке не то выплеснуть, а с Анатолием можно свериться: Сибирь, язычество, Православие, друзья и недруги Отечества, защита, смирение...



...Образы русских пространств, где каждый уголок должен быть воспет в русском слове. Светлая сосновая Чита и Верхнеудинск (после революции Улан-Удэ, то есть Верхняя Уда). Пласты тверди, плавно переходящие друг в друга, насечка промёрзлых хребтов, жёлтой степи, чуть присыпанной снежком. Для чего всё это? Да чтобы постичь огромность и правомерность каждого человека, который тем ценней, чем безлюдней вокруг него — сейчас и ценятся-то такие дальние уголки русского духа. Енисей. Лена. Олёкма. Колыма. И везде, везде люди. И каждого ты должен понять и поддержать, добраться и обогреть своими книгами, разделить любовь до последнего мураша. Чтоб крикнул забайкальский мужичок в морозную даль: «Не один!».

*В библиотеке: справа М. Тарковский; сидит А. Байбородин.*

Ещё одного учителя нет в живых, но есть стихотворение:

*Беркуты возвращаются,  
  взламываются реки.  
Громче гудки, слышной голоса.  
В рыжем, как хорь,  
                                и в белом, как лунь, человеке  
синие-синие намолаживаются глаза.  
Где они, тонны тысячелетней хмури?  
Нет их и не было никогда.  
Ветер — груб и заносчив,  
                                как лейтенант из Даурии,  
встречные останавливает поезда.  
Вихри солнца!  
                                Гул молодой свободы.  
Каждому дереву грянул срок.  
И чернокорые березы из Нерчинского Завода,  
как декабристские жены,  
                                светло стоят вдоль дорог.*

Это Михаил Евсеевич Вишняков из Читы. Вечная тебе память, старший брат, хоть и не был с тобой знаком лично!

Для таких — и здравствующих, и взирающих на происходящее сквозь прозор вечности, великое предательство, которое пережила Россия во время переворота девяностых годов, — боль неизбывная. И то, как были преданы и попораны все наработки советского периода, стоившего нам стольких сил и потерь, по значению сопоставимо лишь с событиями давних революционных лет.

Первой предала интеллигенция без раздела на русских и нерусей. Литературная дама с тонкой сигареткой: «Э-э-э... поскольку в ближайшее время всё решать будут деньги...». «Пе-пе-пе...». Главное — сказать с максимально невозмутимым видом, нога на ногу. А до этого-то! И «Ах, духовность! Ах, зажимают, бедную!». И «Ах, творчество!». Это тебе не пролетариат, который «гайку точит» и в тарелку смотрит. Или в бутылку.

Ну что ж, добро! Духовность так духовность. Теперь-то, пожалуйста, молись — сколько влезет! Вон храмов понастроили. Но «опеть неладно»: попы плохие! Народ, правда, долго держался, пока привороженность к телевизору и непривычка к Достоевскому не сделали дело.

И всё равно. Твёрдость убеждений, способность служить Отчеству и людям. Умение быть верными во всём знании русской истории, с восприятием её как родного и неделимого.

Упокой Господи многострадальные и мятежные ваши души, дорогие учителя, упомянутые сегодня ушедшие русские мыслители и художники, а особенно те, кому по гроб жизни обязан, но обошёл словом в очерке. Бог в помощь тем, кто и сейчас в строю. Далеко-далеко от вас и мурашиная возня столичных литераторов, обслуживающих новую элиту, и их мёртвый сценарный литературный стиль, будто заранее упрощённый под подстрочник, и потуги заработать на переводах, из-за того, что, дескать «наши-то козлы-издатели не платят»... Именно из-за этого, а не ради того, чтобы явить западному читателю образ русского человека, щедрого, широкодушного и способного в случае чего и самого европейского книгочеша перетащить из закорках через любой разлом, болотину.

«...Жизнь течёт дальше, — рассветным байкальским ветерком уразумляет Байбородин. — Матереют сыновья и дочери, уходят в свои, отцами забытые, юные миры; но, будто ангелы в солнечной плоти, являются внуки и внучки и лепечут на ангельском говоре, похожем на перезвон родниковый, тянут ручонки к понурой, натруженной дедовской шее, и от того теплеет и светлеет пожилая, утомленная душа. Жизнь продолжается. Истаивает серым внешним снегом жажда мщения, и вместе с зелеными майскими и робкими просыпается любовь».

И гуще, по Толстому, настой, взвар жизни с годами. Тут уже и красота замысла вступает: как собрать повесть? И идёт художник не от Бунинской правды ощущения, когда любое сюжетное обострение, кроме разве что смерти, как измена правде. Вернее, не только от неё... Э-э-эх... Тут важнее не от чего, а к чему. К плотности. К драматургии смыслов. К житию. К притче. И никуда без эпоса, без истории. И без «Портрета» Гоголя.

Как не изменить? Как отогреть и передать детворе заветы предков? Как устоять народно и державно, когда у самого народа будто слух отбило к чужеродному, и он с такой лёгкостью вдаль в валентины-хелувины? Как остаться верным и такому народу, вылечить его глухоту состраданием и участливым словом? И как не ошибиться, не споткнуться о свою гордыню? Не припозориться, не углядев главного? Сколько чудных людей, подвижников, героев вокруг! Один музей собрал в заброшенном клубе и живёт там, как экспонат, другой школу народной музыки! Один издательство тянет, другой заводило, а третий храмы строит. Один крест не снял и ему живьём голову отняли, другой гранатой себя взорвал, но всё повернул по-своему, и за ним сила выбора осталась, правда и память народная.

Если действительно в тебе дар теплится — то и обходись с ним не как с собственностью, а как с Божьей ценностью, неси осторожно, затаив дыханье, не дай Бог, стрясёшь. А лучше замри, осмотришь, и, затаив дыханье, направляй. Знай силу слова, чтоб ни промашки, ни неточной цели, ни рикошета... Чтоб ничего дорогого не приречь, иконки не уронить... Помоги близким. И хорошо, если и они в свой черёд скажут: «Славные уроки!».